

*of literary discourse as such. Literary criticism is a discourse of meaning generation. Its task is not only to establish literary facts, but also to build new meanings and new interpretations about literary texts. At the same time, literary criticism is a discourse of sign generation. Any original text of literary criticism is only partly based on the generally accepted paradigm of concepts and terms, while in the other part it develops its own scientific language. Literary discourse, therefore, is determined by the communicative strategy of searching for new meanings and new signs, and a theoretical strategy to overcome its own system, which always remains only a developing, becoming system.*

**Key words:** *literary criticism, discourse, meaning, sign.*

**Умер ли автор:  
когда необходима авторская перспектива?\***

***Сыров В. Н.***

Россия, Томск, Томский университет, доктор философских наук,  
профессор кафедры онтологии,  
теории познания и социальной философии

*В статье предпринят анализ аргументов и контраргументов, связанных с темой обращения к авторской перспективе. Показано, что продуктивное обсуждение условий и форм возвращения к авторской перспективе становится возможным только на базе ограниченного релятивизма и прагматизма. Показано, что обращение к авторскому замыслу не является необходимым в ситуации чтения текста с целью выявления типологически сходных черт с другими текстами. Утверждается, что язык описания, сводящий роль автора к замыслу, как бы он ни трактовался, и оперирующий самими понятиями замысла как интенции с признаками целостности, связности и согласованности, весьма неудачен для описания тех черт текста, которые стоит связать с идеей авторства.*

---

\* Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант № 15-33-01003: «Концептуальные основания политики памяти и перспективы постнациональной идентичности».

*Ключевые слова: авторская перспектива, авторская интенция, реальный автор, подразумеваемый автор, субъективная перспектива, смерть автора, целостность текста*

Обсуждение темы авторства имеет длинную и яркую историю. Как известно, этот вопрос поднимался в связи с определением роли авторского замысла или интенции в объяснении сущностных свойств текста. Он повлек за собой ряд взаимосвязанных тем: от проблемы трактовки сути интенции до сомнения в ее ценности как таковой. Своеобразным переломным моментом в ее обсуждении можно считать тезис Ролана Барта о смерти автора в его знаменитой статье «Смерть автора». В начале своих рассуждений Барт не случайно ставит вопрос о том, кому приписать высказывание о переодетом женщиной кастрате в новелле Оноре де Бальзака «Сарразин». Относится оно к субъективной позиции автора или выражает культурные стереотипы эпохи? К какому пункту на оси от авторской идиосинкразии до общепринятых установок его отнести? Сомнение порождает ключевую методологическую установку: «Присвоить тексту Автора – это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным значением» [1, с. 389]. Критический посыл очевиден. Как минимум, он ставит под вопрос подход, направленный на объяснение смысла текста замыслом автора или на сведение такого смысла к авторскому замыслу.

Резонно полагать, что суть тезиса о «смерти автора» заключается отнюдь не в предложении заменить один подход к истолкованию смысла текста на другой и обрести тем самым, наконец, правильное понимание. В принципе мысли Барта, конечно, могут быть прочитаны и таким образом. Так, тезис о скрипторе, который приходит на смену автору и «несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо» [1, с. 389], можно толковать как призыв к более тонкой трактовке природы авторского замысла. Утверждение о скрипторе, который «рождается одновременно с текстом», также можно прочесть как призыв извлекать автора из созданного текста, а не толковать его как фигуру из плоти и крови.

В своей, не менее известной, работе «S/Z» Барт указывал, что «интерпретировать текст вовсе не значит наделить его неким конкрет-

ным смыслом (относительно правомерным или относительно произвольным), но, напротив, понять его как воплощенную множественность. ...Такой идеальный текст пронизан сетью бесчисленных, переплетающихся между собой внутренних ходов, не имеющих друг над другом власти; он являет собой галактику означающих, а не структуру означаемых; у него нет начала, он обратим» [2, с. 33]. Эту мысль принято трактовать как призыв перейти к другой практике чтения, призванной, так сказать, «рассыпать» текст, т. е. обратиться к экспликации тех инструментов или кодов, которыми сознательно или бессознательно пользуется автор при создании своей продукции. Но такой тезис также можно трактовать как призыв к другой, более правильной практике чтения. Недаром Антуан Компаньон упрекает Барта в догматической и политической тональности его высказывания, которую можно обнаружить в высказываниях типа «ныне мы знаем...», «теперь нас больше не обманут» и которые могли давать основания для такого истолкования [3, с. 61].

Поэтому представляется, что в конечном счете тезис Барта следует считать более радикальным. Утверждение о «смерти автора» – это отнюдь не призыв к другой, более правильной практике чтения. Это скорее отказ признавать за текстом окончательный смысл или отказ от поиска привилегированного смысла, где бы он ни искался. Он предполагает открытость текста разнообразию актуальных и потенциальных интерпретаций. Но парадоксальным образом этот тезис становится обоснованием правомерности возвращения к авторской перспективе. Ведь если теоретически допустимы различные толкования текста, то почему не обратиться к фигуре автора как к одной из объяснительных стратегий. Вопрос тогда заключается в том, как толковать правомерность такого возвращения и с какими условиями его связывать. Понятно, что в свете отказа от поиска «правильного» прочтения мы уже не можем представить такой поиск как простое повторение пройденного. Задача заключается в том, чтобы найти условия, факторы, обстоятельства, контексты, которые делают обращение к авторской интенции необходимым.

Представляется, что на этом пути следует вернуть к началу и воспроизвести некоторые вехи в исследовательской практике, которые подготовили как появление бартовского тезиса, так и противоположную позицию. Их экспликацию будем рассматривать не как дань кано-

ну написания исследовательской работы, а как осмысление опыта обсуждения проблемы. Ведь смысл опыта в том и состоит, чтобы показать, какие пути пройдены, какие аргументы предъявлены, к чему стоит или не стоит возвращаться.

Как известно, вопрос о роли авторского замысла был поднят в известной статье William K. Wimsatt и Monroe C. Beardsley «Интенциональная иллюзия». Их ключевой тезис заключался в утверждении, что «намерения автора не пригодны и не желательны как стандарт для определения успешности литературного произведения» [16, р. 3]. Критики вполне резонно утверждали, свидетельством успешности поэта являются сами его поэмы [16, р. 4]. Реализацией замысла является сама работа. Иначе говоря, если произведение достигло успеха, то намерение в нем воплотилось, и тогда нет надобности ставить вопрос о замысле как предмете, предшествующем его воплощению в тексте. Если же произведение оказалось неудачным, значит, намерение не реализовалось. Но тогда снова нет надобности ставить вопрос о замысле, поскольку он ничего не объясняет в жизни текста.

Этот же тезис ставит под сомнение ценность биографических данных или высказываний самого автора по поводу сути своего произведения. Сами по себе они ничего не доказывают и ничего не опровергают. «Использование биографических данных не ведет с необходимостью к интенционализму, поскольку они могут быть свидетельством намерений автора, могут быть доказательством смысла употребляемых им слов или драматического характера их произнесения. Но, с другой стороны, могут не иметь к этому никакого отношения» [16, р. 11]. Все упирается в способность исследователя убедительно представить ту или другую точку зрения. И, как заключают авторы, это единственно верный и объективный путь исследования в противоположность желанию спросить о смысле своей работы у самого автора. «Критическое исследование не решается консультацией с оракулом» [16, р. 18]. Как отметил позднее Умберто Эко, «я не говорю, что какие-то прочтения не могут показаться автору ошибочными. Но все равно он обязан молчать. В любом случае. Пусть опровергают другие, с текстом в руках» [5, с. 429].

Еще один шаг на этом пути принято связывать с идеей Wayne C. Booth о подразумеваемом авторе. Подразумеваемый автор трактовался им как «второе Я», отличное от т.н. «реального автора» как чело-

века во плоти и крови, как некоторая версия, создаваемая реальным автором [8, p. 151]. Читатель «извлекает» его из текста на основании совокупности знаков, рассыпанных по такому тексту. Мы можем предположить, что «второе Я» может совпадать с убеждениями живого автора, может не совпадать, может быть следствием сознательной авторской стратегии, но может и не быть, может возникнуть посредством изощренных техник типа использования «ненадежного рассказчика». Но важно одно. Резоннее полагать, что читатель будет сталкиваться только с таким подразумеваемым автором, сколь бы ему не пришлось выходить за пределы текста для его опознания. Ведь весь комплекс свидетельств в виде прямых высказываний автора в интервью или в письмах, фактов авторской биографии является не совокупностью прямых доказательств или опровержений, а лишь набором источников, которые еще нужно отобрать, согласовать, интерпретировать.

Можно сказать, что в узком смысле такой автор извлекается из своего конкретного произведения, а в широком – из всей совокупности свидетельств, оставленных им или имеющихся о нем. Если использовать понятие интенции, то в рамках такого подхода ее также следовало извлекать из текста и приписывать подразумеваемому автору. По сути это означало смену методологии. Теперь не автор во плоти и крови с его замыслом, предшествующим тексту, привлекался для объяснения тех или иных черт текста, а, наоборот, характеристики автора и сам замысел извлекались из текстуального анализа. Как отмечала Mieke Bal, «таким образом подразумеваемый автор является результатом изучения смысла текста, но не его источником. Только после интерпретации текста на основе его описания подразумеваемый автор может быть извлечен и обсуждаем» [7, p. 18]. Но тогда вставал правомерный вопрос о целесообразности их использования. Та же исследовательница отмечала, что понятие такого автора может быть применено к любому тексту и не специфицирует практику нарратологии [7, p. 18]. Shlomith Rimmon-Kenan по той же причине предлагала деперсонализировать понятие подразумеваемого автора, свести его к набору имплицитных норм текста и исключить его из списка участников нарративной коммуникации [13, p. 89]. По сути, вопросы, что говорит текст и каков авторский замысел, становились трудноразличимыми.

Конечно, спор об использовании идеи автора для нужд нарратологии носит несколько отдельный характер и связан с проблемой опре-

деления целей, задач и специфики самой нарратологии. Michael J. Toolan, к примеру, полагал, что подразумеваемый автор востребуется в процессе расшифровки текста, но «не является реальной ролью в нарративной передаче» [15, p. 78]. Но ретроспективно можно утверждать, что идея подразумеваемого автора оказалась весьма жизнеспособной. По крайней мере, в нарратологии схема нарративных инстанций или нарративной коммуникации, включающая в себя хотя бы формально подразумеваемого автора и подразумеваемого читателя, приобрела канонический характер. К тому же исключение фигуры автора из списка таких инстанций сводит нарратологию к списку чисто вспомогательных технических инструментов для анализа текстов.

Как отметил Компаньон, «за тезисом о смерти автора как историко-идеологической функции скрывается более острая и существенная проблема – проблема авторской интенции (где интенция гораздо важнее самого автора) как критерия литературной интерпретации» [3, с. 76]. Сам Компаньон, как один из сторонников возрождения ее ценности, приводит в ее пользу соответствующий набор аргументов. Прежде всего, это критика оппонентов за сведение вопроса об авторстве «к вопросу об объяснении текста через жизнь и биографию» [3, с. 61]. Далее. Это вытекающий из предшествующей критики тезис о необходимости переинтерпретации сути интенции и несводимости ее к традиционному представлению о замысле, первичном по отношению к тексту и явно или неявно обусловленном особенностями авторской биографии. Интенцию, согласно Компаньону, скорее надлежит трактовать как целостность, связность и согласованность частей текста, а не ясность и осознанность замысла. Компаньон полагает, что презумпция такой интенциональности лежит в основе любого анализа любой человеческой продукции. Она подразумевается даже ярыми критиками авторской интенции, что дает право говорить о ее неустранимости из структуры нашего восприятия текста. Ярким примером ее проявления, по его мнению, является применение метода параллельных мест, который строится на том, что «критики, независимо от своих предрассудков в пользу или против автора, для прояснения темных мест текста используют преимущественно параллельные места из того же автора» [3, с. 84].

Ну и наконец, в ответ на столь распространенный тезис о существовании и возможности разнообразия интерпретаций Компаньон предлагает воспользоваться известным тезисом американского литератур-

ного критика Eric Donald Hirsch о необходимости различать смысл текста и его использование (или значимость). Hirsch, отталкиваясь от такого подхода, проводил различие между интерпретацией и критицизмом и соответственно между смыслом как объектом интерпретации и релевантностью как объектом критицизма [12, p. 463-464]. Поэтому он полагал, что подход к смыслу текста как к меняющемуся объекту основан на смешении смысла и релевантности [12, p. 465]. По Hirsch, меняется применение, но смысл остается тем же. Такое различие подразумевает признание существования правильного, т. е. более-менее постоянного, устойчивого, однозначного смысла, на чем сам Hirsch настаивал. Забегая вперед, можно отметить, что дело здесь не только в предпочтениях Hirsch. Ведь если признавать равноправность различных интерпретаций, разведение смысла и его применения утрачивает смысл. Поэтому сторонникам значения идеи интенции стоило настаивать на правомерности подхода, предлагаемого американским критиком.

Как следствие такого подхода вставал вопрос о сути интенции и критериях определения ее однозначности. Hirsch считал, что она не сводится «к субъективности автора как реальной исторической личности» [12, p. 478]. Интенция может воплотиться лишь в демонстрации целостности и согласованности текста. Основание или критерий такой согласованности Hirsch связывал с идентификацией жанра, к которому текст принадлежит [12, p. 469], и типичных авторских представлений и установок (или авторского стиля) [12, p. 476]. Они должны задать тот горизонт смысла или набор правил и норм, которые обеспечат правильную интерпретацию. Дальнейшая логика интерпретации предполагала движение от общего к конкретному или спецификацию горизонта [12, p. 469]. На первый взгляд, такой путь выглядит правомерным, поскольку идентификация, с одной стороны, с жанром, а, с другой стороны, с авторским стилем, кажутся наиболее приемлемыми для экспликации именно интенции. Ведь она должна выражать авторскую субъективность, но поскольку находит свое выражение в значениях слов, используемых пишущим, то должна носить надличностный характер и восприниматься в соответствии с принятыми лингвистическими конвенциями [12, p. 467].

Вышеописанное повествование не преследовало цели дать исчерпывающее историографическое описание состояния проблемы. Дело скорее в том, чтобы выявить версии, которые кажутся наиболее инте-

ресными в плане использования аргументов «за» и «против». Но бесспорно, что их принятие или неприятие возможно лишь на основании определенной теоретико-методологической позиции или выбора соответствующих теоретических принципов. Иначе говоря, продуктивное обсуждение вопроса требует расширения контекста. Понятно, что и сами эти принципы являются плодом осмысления накопленного исследовательского опыта, а не следствием субъективных предпочтений. Правда, для обсуждения конкретной проблемы, авторства в данном случае, они будут играть роль уже не дискутируемого контекста.

Если говорить о выборе таких принципов, то полагаем, что резонно связать их с релятивизмом и прагматизмом. Тогда следующим шагом будет прояснение контекста, который они задают. Ихаб Хассан когда-то отметил, что «ограниченный критический плюрализм в какой-то мере есть реакция на бескрайний релятивизм» [11, р. 23]. Как подчеркнул Стенли Фиш, произведение «очевидно открыто для более чем одной интерпретации, но это не означает, что оно открыто для безграничного числа интерпретаций» [10, р. 341]. Читатель, конечно, может понимать текст, как ему заблагорассудится. Но если работа литературного критика или исследователя как интерпретатора текста имеет смысл, то, говоря словами Фиша, она «детерминирована литературными институциями, которые в любые времена допускают лишь ограниченное число интерпретативных стратегий» [10, р. 342]. Это означает, что тезис о множестве равноправных интерпретаций не следует понимать буквально как торжество хаоса и произвола или как их простое множество в какой-то момент времени.

Прежде всего, само многообразие может пониматься, как минимум, в нескольких аспектах. Вполне можно ожидать противоположные или несовпадающие интерпретации авторской интенции при согласии интерпретаторов по поводу признания исследовательской ценности самой интенции. Но текст может предстать в разном свете в зависимости от характера поставленной задачи. Так, можно исследовать его с позиций принадлежности к тому или иному жанру, рассматривать как воплощение, так сказать, духа времени, искать в нем формы выражения авторской оригинальности. Данные подходы дадут различные, но не соперничающие прочтения. Наконец, многообразие может пониматься как конкуренция подходов. Так, сторонники симптоматического чтения могут настаивать на его предпочтительности по отношению к интен-

циональному чтению. Сторонники подхода, ориентированного на поиск того, что говорит сам текст, могут противопоставлять его подходу с позиций читательского отклика.

Фиш правомерно отмечает, что предпочтение одной версии другой обуславливается не ее соответствием фактам, а перспективой, которая эти факты актуализировала [10, р. 340]. «Конечно, каждое новое прочтение осуществляется от имени самого произведения, но само оно всегда является функцией интерпретирующей перспективы, с которой критик его «открывает» [10, р. 341]. Это означает, что в любом случае с позиций релятивизма многообразие версий должно толковаться не как смена одного прочтения или подхода другим более «правильным», а либо как обусловленность различными исследовательскими целями и задачами, либо как способность того или иного нового подхода предложить более привлекательное прочтение текста.

Здесь релятивизм смыкается с прагматизмом как критерием, которым можно руководствоваться в свете отказа от концепции «правильного» прочтения. Как отметил Ричард Рорти, «согласно этой точке зрения, великие ученые открывают новые описания мира, которые полезны для предсказания или контроля того, что может случиться, тогда как поэты и политические мыслители дают другие его описания, пригодные для иных целей. Но бессмысленно полагать, что какое-либо из этих описаний является точной репрезентацией того мира, каков он сам по себе» [4, с. 23]. Так, мы воспринимаем текст как проявление жанра, потому что это соответствует задачам нашего исследования, или мы читаем текст симптоматически, потому что это открывает нам новую интересную перспективу его прочтения. Важно при этом освободиться от остатков старых представлений о наличии задач главных или второстепенных, основных или производных.

Стоит согласиться с Фишем, что при таком подходе сам текст не может быть местом ядра соглашения, на основании которого мы отрицаем одни версии и принимаем другие [10, р. 342]. Сам по себе текст нам ничего не говорит и не дает никаких намеков на выбор приоритетов. Мы должны выйти за его пределы, чтобы начать интерпретацию. С методологической точки зрения это означает необходимость избавления от иллюзии самоочевидности тех или иных вещей и отчетливость осознания тех задач, в свете которых мы предпринимаем интерпретативную операцию. Но потенциальное равноправие задач не означает их

актуальной равнозначимости. Только с позиций преподавания как обучения методикам профессионального чтения правомерно говорить о том, что текст можно прочитать вот так, а можно и вот так. В исследовательской практике приоритет тому или иному подходу будет определяться отнюдь не произвольностью выбора по типу: давайте рассмотрим текст с такой-то позиции. Тексты могут и должны прочитываться в свете задач, которые культура явно или неявно полагает актуальными.

Как все эти рассуждения могут помочь нам при обсуждении нашей темы? Оппоненты могут утверждать, что любое использование текста предполагает предварительное прояснение его смысла. С этого аргумента Hirsch начинал свою статью. Такое различие кажется очевидным на первый взгляд. Но дело в том, что интерпретировать текст как проявление типического (жанра, стиля, духа эпохи) значит читать его иначе, выделять иные существенные компоненты, чем те, что ищутся в случае опознания текста как воплощения специфического или своеобразного. Иначе говоря, реализация как того, так и другого подхода предполагает применение процедуры перепрочтения текста и создание нового описания, а не использование имеющегося. К этому стоит добавить, что на уровне теории, исходящей из принципов прагматизма, любой способ понимания задается характером применения. Выявление замысла, как и отнесение к жанру, также можно трактовать как обусловленность характером поставленной задачи. Более того, с позиции ограниченного релятивизма (по Ихабу Хассану) у нас нет оснований предполагать, что одна задача всегда предпочтительнее, чем другая. Говоря иначе, тот факт, что мы видим и ищем в столах и стульях типичное, а в текстах – своеобразное, обусловлен отнюдь не природой данных объектов, а характером наших целей. Просто со временем такие цели устоялись, забылись и превратились в нечто самоочевидное. Кроме того, тогда логично предположить, что существующие и распространенные версии смысла ключевых текстов устоялись просто в силу малого времени их бытия в культуре и сохранения относительной устойчивости и непрерывности целей их прочтения, а не потому, что найдены правильные ответы о таких смыслах.

Столь же спорной представляется методология, предложенная Hirsch для воссоздания интенции или горизонта предполагаемого смысла. Во-первых, для реализации данной процедуры жанры и стиль уже должны быть в наличии в более-менее устоявшемся виде. Однако,

как нам представляется, даже их наличие не решает проблемы. Похоже, Hirsch представлял себе определение интенции как движение от общего к конкретному, как постепенное наполнение абстрактной идеи богатством содержания [12, р. 469-470]. Такой путь мысли кажется очевидным. Но лишь на первый взгляд. Обогащение набором признаков конкретизирует понятие жанра или стиля, но не смысл данного текста. Иначе говоря, если текст идентифицируется как типичное проявление того или иного жанра или стиля, нет надобности привлекать понятие интенции. Если текст характеризуется оригинальностью и своеобразием, то идентификация с жанром или стилем нам ничем не поможет в их опознании. Читать текст как проявление типического или читать его как воплощение своеобразного – это два разных прочтения, поскольку выделяться как значимые и игнорироваться как несущественные будут разные, если не противоположные, компоненты текста.

Но можно двинуться дальше. Компаньон утверждает, что в любом случае интенция подразумевается любым видом чтения. Нельзя начать операцию деконструкции, к примеру, не представляя себе смысла самого текста. Но данный тезис также подразумевает одно важное условие. Как правомерно отмечено, «любые действия литературного критика всегда подкреплены теорией» [6, р. 9]. Это означает, что следует предварительно прояснить: задается ли поиск интенции специально созданной теорией или ее наличие является частью общей культурной традиции, которая формирует нас как человеческих существ. Ведь в сфере повседневности нас окружает множество всяких вещей, но не все они становятся достоянием специального анализа. Так, мы полагаем очевидным, что любой человеческий продукт, как правило, является следствием предварительного замысла. Но, чтобы его выявление стало объектом специального анализа, необходима теория, которая проблематизировала бы тему интенции и тем самым придала бы ей значимость. В противном случае она останется за пределами интереса исследовательского сообщества, поскольку может казаться малоинтересной в силу самоочевидности смысла текста, к примеру. К тому же вполне резонно, что в современной культуре все приучены читать под углом зрения поиска авторского замысла и знакомы с, так сказать, каноническим списком текстов, которые должен прочитать любой культурный человек. Но можно допустить, что некто вообще не читал данные тексты, а если и начал, то делает это для определения их принадлежности к жан-

ру. Тогда можно предположить, что для такого читателя вопрос о том, о чем говорит данный текст, будет сводиться к опознанию его принадлежности к тому или иному жанру, а все остальные смысловые нюансы будут восприниматься как шумы.

В данном контексте также может обсуждаться вопрос о роли интенции в прояснении темных мест текста. Столь же можно утверждать, что отнесение к автору отнюдь не является необходимым условием применения метода параллельных мест. Все зависит от задач исследования. Например, идентификация с эпохой не требует опознания авторства. Достаточно установления типологических сходств с периодом. Как отметил Эко, автор может проявляться как «узнаваемый стиль или текстовый идиолект. Причем нередко этот идиолект может принадлежать не личности, а жанру, социальной группе или исторической эпохе» [5, с. 24].

Но можно пойти дальше и поставить вопрос об эвристической ценности постановки вопроса о выявлении авторского замысла. Как выше отмечалось, его можно трактовать двояко: как замысел, первичный по отношению к тексту, или как смысл, извлекаемый из самого текста. Даже если трактовать его в первом смысле, то резоннее говорить, что он носит характер извлекаемый. Ведь суждения самого автора, как толковать текст или его биографические данные, рассыпаны по разным источникам и становятся таким же объектом истолкования, как и сам текст. Тогда правомернее рассматривать их как такую же часть более общей картины воссоздаваемого смысла, если, конечно, мы признаем его релевантность. Но даже если доказать реализованность такого замысла, то может оказаться, что эвристичность данного достижения окажется минимальной. Ведь никто не может выйти за пределы своей обусловленности культурными установками эпохи. Поэтому свести текст к первоначальному замыслу автора поистине значит лишить его возможности новых прочтений.

Если же трактовать текст как целостность, связность и согласованность всех его частей, то такая трактовка либо не проблематична, либо лишена универсальности. Поскольку текст конституируется коммуникацией между автором и читателем, постольку как его смысл, так и его целостность и связность, подразумеваются самим актом письма и чтения. Тогда постановка вопроса «Что говорит текст?» может возникнуть лишь в специальных контекстах: в случае экспериментальных тек-

стов, в ситуации двойного кодирования, в ситуации скрытого навязывания читателю определенных идеологических установок и т. д. Представляется, что именно для этих случаев правомерен тезис Н. Porter Abbott, что «целостность есть нечто, что мы скорее вкладываем в нарратив, чем находим в нем» [14, р. 94]. Но, более того, во всех этих и подобных ситуациях перед интерпретатором отнюдь не стоит задача отстоять целостность и связность текста в противовес его бессвязности. Задача здесь скорее носит иной характер, к примеру, выявить скрытый смысл, который, кстати, может ускользать и от самого автора в силу его скованности предрассудками эпохи, закрепленными в используемых им дискурсах. К тому же целостность и связность созданного продукта может задаваться жанром, а не замыслом.

Каков же вывод? Прежде всего, наш тезис заключается не в отрицании роли автора и примирении с идеей его «смерти». Вполне допустимы различные способы прочтения текста, но они оказываются равноправными в том, что не подразумевают друг друга. Чтение текста с целью выявления типологически сходных черт с другими текстами не нуждается в предварительном чтении с целью выявления текстуального своеобразия. И наоборот.

Во-вторых, мы полагаем, что язык описания, сводящий роль автора к замыслу, как бы он ни трактовался, и оперирующий самими понятиями замысла как интенции с признаками целостности, связности и согласованности, весьма неудачен для описания тех черт текста, которые стоит связать с идеей авторства.

В-третьих, мы полагаем, что именно последовательное проведение принципа умеренного или ограниченного релятивизма является прекрасным основанием для возвращения и актуализации темы авторской перспективы.

## Литература

1. Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: 1994. С. 384-391.
2. Барт Р. S/Z. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 232 с.
3. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М.: Изд-во М. Сабашниковых, 2001. 331 с.
4. Рорти Р. Случайность, ирония, солидарность. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. 282 с.

5. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб.: Symposium; М.: Изд-во РГГУ, 2005. 502 с.
6. A reader's guide to contemporary literary theory / ed. by Raman Selden, Peter Widdowson, Peter Brooker. Pearson Education Limited, 2005. 302 p.
7. Bal M. Narratology: introduction to the Theory of Narrative. Univ. Of Toronto Press, 1999. 254 p.
8. Booth W. C. Rhetoric of Fiction. Univ. of Chicago Press, 1961. 572 p.
9. Chatman S. Story and Discourse. Narrative structure in Fiction and Film. Cornell Univ. Press, 1978. 277 p.
10. Fish St. Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities. Harvard Univ. Press, 1980. 408 p.
11. Hassan I. Pluralism in Postmodern Perspective // Exploring Postmodernism, edited by Matei Calinescu and Douwe Fokkena, John Benjamins Publishing Company, 1987. P. 17–39.
12. Hirsch E. D. Objective Interpretation // Modern Language Association. Vol. 75, №. 4. P. 463-479.
13. Rimmon-Kenan Sh. Narrative Fiction. Contemporary Poetics. Routledge, 2002. 192 p.
14. Porter Abbott H. The Cambridge introduction to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 203 p.
15. Toolan M. J. 1988. Narrative: a Critical Linguistic Introduction. London and New York: Routledge. 278 p.
16. Wimsatt W. K. , Beardsley M. C. The Intentional Fallacy // The Verbal Icon. Studies in the meaning of Poetry / by Wimsatt W. K. Univ. Of Kentucky Press, 1954. P. 3-18.

*Syrov V. N.*

### **IS THE AUTHOR DEAD? WHEN DO WE NEED AUTHORIAL PERSPECTIVE?**

*The topic discussion is based on thesis on the need to identify the conditions that determine the appeal to authorial perspective. I believe that such identification is possible only on the basis of limited relativism and pragmatism, namely of the denial of the search of a privileged viewpoint, and of requirements to consider the preference of certain approaches in the context of their applicability. I believe if the text is identified as a typical genre manifestation, there is no need in intention. I also believe that the language that reduces the role of the author to authorial design and operates*

*the concepts of design as intention with features of integrity, coherence and consistency fails when describing features of the text that should be associated with the idea of authorship. It only obscures, rather than clarifies, the role of authorial perspective.*

**Key words:** *authorial perspective, authorial intention, implied author, real author, death of the author, subjective perspective, wholeness of text*

## **Семиотическая философия Ю. М. Лотмана\***

**Фаритов В. Т.**

Россия, Ульяновск, Ульяновский технический университет,  
доктор философских наук, профессор кафедры философии

*Целью настоящей статьи является исследование вопроса о взаимопроникновении литературоведения и философии на материале анализа наследия Ю. М. Лотмана. Автор обосновывает положение, что концептуальным разработкам и исследованиям текстов художественной литературы Лотмана принадлежит значимое место в становлении постметафизической культурно-философской парадигмы. В статье показывается, что одним из центральных пунктов работ Лотмана является феномен нарушения границ, то есть трансгрессии. Исследования Лотмана позволяют эксплицировать различные аспекты феномена трансгрессии.*

**Ключевые слова:** *Ю. М. Лотман, трансгрессия, граница, семиосфера, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, семиотика, литературоведение, философия.*

Филология и философия не отделены друг от друга непроходимыми границами. После связанного с кризисом классической европейской метафизики лингвистического поворота значимость теоретического и методологического потенциала филологии начинает приобретать значительно более высокую оценку в философском дискурсе. Ярким

---

\* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 15-33-01222.